

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Самоубийство Луиса Мерсьера Веги

Михаил Самуилович Агурский

1978

Михаил Самуилович Агурский
Самоубийство Луиса Мерсьера Веги
1978

Скопировано 18.11.2014 с <https://vk.com/anarcholibrary>
Впервые опубликовано в журнале "22", Тель-Авив, июнь
1978г., с.209-218

ru.theanarchistlibrary.org

Я видел этого человека только раз в жизни, но считаю своим долгом рассказать о нем. С такими людьми встречаешься редко. Они оказываются судьбоносными, и встречи с ними даются не для того, чтобы появилась еще одна светская связь, еще одно приятное знакомство. Они, эти люди, оказывают на нас мгновенное влияние, вносят в нашу жизнь то, чего в ней не было раньше, и затем исчезают, быть может – навсегда. Подобные встречи бывают только за пределами нашей обычной жизни, в кругах, которые отделены от нашего будничного существования бездной иных традиций, привычек, исторического наследия.

Луис Мерсьер Вега был анархистом чилийского происхождения, и встретить его для меня было столь же вероятно, как встретить, например, филиппинского промышленника или же испанского тореадора. Конечно, теоретически говоря, я мог с ними столкнуться – где-нибудь в самолете, в гостинице. Но предположить, что в результате такой

встречи мог бы образоваться еще и какой-то реальный контакт, – невозможно.

Но таинственна связь человеческих жизней, и она поражается иначе.

В марте 1977 года, когда мне довелось в течение нескольких месяцев работать в парижских библиотеках, я получил письмо от одного знакомого англичанина, социалиста. Он работал тогда в аппарате Европейского Экономического Сообщества в Люксембурге. Мы решили встретиться, и англичанин вскоре действительно приехал в Париж, где мы провели за разговорами приятный вечер в уютном ресторанчике на рю де Батиньоль. Мой знакомый привез номер совершенно неизвестного мне журнала, в котором, как оказалось, еще в 1975 году была перепечатана (по-французски) одна моя давняя самиздатская статья, где рассматривались экономические системы Востока и Запада и утверждалось, что обе страдают одинаково большими пороками. Журнал, к моему удивлению, был... анархистский. В России, работая над этой статьей, я менее всего предполагал, что какие-то ее положения могут оказаться приемлемы и даже, видимо, интересны для анархистов. Да и о существовании этого движения я почти не думал тогда.

Все же это вряд ли было и совершенно случайным. В свое время лет двадцать назад, я всерьез интересовался одно время анархизмом, в особенности - Кропоткиным, затем интерес к нему у меня ослаб, хотя сама его идея децентрализованного общества, состоящего из групп, совмещающих умственный и физический труд, надолго осела в моей памяти. Было еще и обстоятельство личного характера: отец мой, в бытность свою в Америке, примыкал к известной анархистской организации "Индустриальные рабочие мира" (IWW).

Увидев теперь в анархистском журнале эту свою статью (журнал назывался "Интеррогасьон"), я решил найти редакцию. Следовало хоть поблагодарить господ анархистов за публикацию. Но в парижских телефонных справочниках номера "Интеррогасьон" не оказалось и просто позвонить туда не удалось. Тогда я решил написать им письмо, ибо адрес редакции в журнале все же приводился, да и фамилия редактора указывалась – Луис Мерсьер Вега. Я написал Веге по этому адресу и через некоторое время получил от него весьма любезный ответ, где сообщался также его домашний телефон.

Вскоре я поднимался по лестнице его дома. Дом этот располагался в районе, где парижская интеллигенция обычно не живет, – в квартале одиноких рабочих и проституток, где не всякий хозяин отеля впустит наивного иностранца, который по простоте душевной вздумает спросить здесь свободную комнату.

Дверь открыл сам Вега – среднего роста, пожилой, но хорошо сложенный и еще крепкий человек. Я не взялся бы на глаз определить его национальность; впрочем, и возраст тоже. Со вкусом убранная квартира, много книг, явно холостяцкий уют... Обед хозяин приготовил сам, – получилось что-то вкусное и даже изысканное, обильно приправленное вином.

Вега свободно говорил на нескольких языках. Общим у нас оказался английский. Потягивая вино, он рассказывал, что анархистом стал в 16 лет, воевал в Испании, на стороне республиканцев, после этого сменил еще много стран и куда большее число городов. Улыбнувшись, он произнес несколько слов по-русски и тут же пояснил, что слышал их от Лазаревича – одного из немногих русских анархистов, которым удалось спастись после разгрома русского анархизма большевиками.

Я признался, что не верю в реальность политических идей анархизма, хотя готов согласиться, что, быть может, действительно, следует всемерно стремиться к ограничению власти государства. Такое ограничение, однако, – сказал я, – может быть лишь путем, процессом, а не целью самой по себе. Он вежливо возразил, потом предложил мне написать или поговорить об этом на анархистском конгрессе, посвященном проблеме "новых господ" в современном обществе, который должен был состояться в марте 1978 года в Венеции. Я поблагодарил его за приглашение. На этом мы расстались.

Я почувствовал симпатию к нему с первых же минут, но и тогда, во время разговора, и позднее не мог отделаться от мысли, что мы принадлежим к совершенно разным, чуждым мирам. Такая чуждость преодолевается нелегко, иногда она оказывается непреодолимой. Я говорил о путях национализма, а для него национальные проблемы не существовали вообще и в нациях он видел, кажется, всего лишь досадные "перегородки" между людьми. Я был из Израиля, к которому он относился с явной настороженностью; в израильские киббуцы он не верил абсолютно, – знал, что там широко применяется наемный труд.

Вскоре я вернулся в Иерусалим. Через несколько недель пришло официальное приглашение на анархистский конгресс, – Вега не забыл наш разговор.

В октябре того же года я снова оказался в Париже и решил позвонить Веге. Он ответил, что рад, что сейчас, к сожалению, занят, что перезвонит мне сам и тогда мы договоримся о встрече. До сих пор не знаю (и уже никогда не узнаю), звонил ли он мне в ту последнюю неделю октября. Быть может, звонил – и не застал. Он выполнял свои обещания. Первого ноября я уехал из Парижа, так и не повидавшись с ним.

жизнью, определять себя только по отношению к партиям и межпартийной борьбе. Гражданская позиция человека должна быть инвариантной по отношению к преходящим политическим спорам. Быть может, это и есть тот минимум (или максимум?) политического анархизма, какой можно себе позволить в наше время. Но, может быть, кто-то видит и иные пути?..

Все это странным образом перепутывалось в моей памяти с обрывочными мыслями о самом Веге. Какой-то образ медленно выкристаллизовывался в моем сознании, и вдруг я увидел чилийского анархиста в образе булгаковского Мастера, уносящегося в царство Покоя. Обретет ли он это царство? Не поставят ли ему в вину его своевольное самоубийство? И мне подумалось, что если ему придется защищаться, то хорошо бы ему сказать в свое оправдание, что его отрицание власти на земле было чище, чем любое ее обожествление. Но догадается ли он сказать это в свою защиту? Не нагрубит ли – он, привыкший отрицать не только земную, но и небесную власть? Ведь рядом с ним не будет Маргариты...

ствии в Израиле политической и интеллектуальной свободы. И одно это могло компенсировать многое.

... Я покинул Венецию в солнечный, весенний, хотя и холодный день. Шок, в который меня повергла весть о самоубийстве Веги, прошел, как, к сожалению, проходит почти все в жизни. И только в самолете, перебирая подаренный мне комплект "Интеррогасьон", я вспомнил – и задумался. Чем же была для меня эта короткая и почти случайная встреча с Вегой? Что открыл мне Венецианский конгресс? Что я могу взять из системы ценностей анархизма?

Идею перманентного бунта, как таковую? Нет, жизнь давно излечила меня от этого. Политический нигилизм? Но невозможно позволить себе такую роскошь в стране, окруженной смертельными врагами. И тут, при мысли об Израиле, мне вспомнился Мордехай из книги Эсфири – этот первый в истории "анархист", отказавшийся преклониться перед властью и ее носителем. Не есть ли анархизм в правильном – или, по крайней мере, доступном мне – понимании отказом от признания абсолютного характера власти, если эта власть пытается провозгласить себя как принцип, как некое высшее мерило, а не как нечто служебное и подчиненное, необходимое лишь для облегчения человеческой жизни?

Если понимать анархизм, как стремление подчинить общественную жизнь неким высшим метафизическим нормам, а не относительным гражданским установлениям, – тогда Израиль оказывается колыбелью анархистской идеи.

Я подумал, что в подобном понимании жизни кроется для человека залог внутренней душевной стабильности по отношению к политической борьбе, всегда разделяющей любую страну, в жизни каждого общества наличествует нечто большее, более важное, чем эта борьба или победа той или иной партии. Я подумал, что нельзя связывать свое отношение к своей стране только с ее политической

В Иерусалиме я начал готовить свое выступление. Письма по поводу конгресса теперь приходили почему-то не из Парижа, а из Италии, и подписывал их уже другой человек. В феврале я получил программу заседаний. Среди прочих там значился и доклад Веги.

Утром 25 марта 1978 года я входил в красивый старинный дворец Аула Манья, где расположен архитектурный факультет Венецианского университета. Уже собирались участники и гости конгресса. Я хотел первым делом повидать Бегу. Его не было видно. Спрашивать было как-то неудобно, а докладчики уже занимали свои места в президиуме большого актового зала.

Первым выступал Амедео Бертоло, и то, как он упомянул о Веге, меня сразу насторожило. Он сказал о нем, как говорят о человеке, который отошел от дел и завещал другим какие-то свои мысли и идеи.

Я все еще не понимал, что происходит. В перерыве я подошел к одному из новых знакомых – венгру, который неплохо говорил по-русски (когда-то провел три года в Ленинградском университете), и, волнуясь, спросил:

– Что с Вегой? Где он?

Венгр удивленно посмотрел на меня:

– Разве вы не знаете? Он покончил самоубийством.

– Не может быть! Когда?

– Двадцатого ноября...

– Почему? Он был болен?

– Совершенно здоров. Он просто давно это запланировал.

– Запланировал?

– Да, уже давно. Он говорил, что в 63 года уже не может быть полезным для дела.

Большим, беспомощным стариком он тоже не хотел быть. Он говорил, что человек вправе распорядиться своей жизнью по собственному усмотрению.

– Он был женат?
– Нет.
– А дети?
– Детей у него никогда не было... Я его видел дня за два до самоубийства. Мы выпивали вместе. Он был, как всегда, весел и разговорчив.
– И многие знали, что он ... хочет так кончить?
– Несколько человек. Амедео Бертоло, Марианн Энкель из Женевы, еще кое-кто...
Я не мог успокоиться. Я разыскал Бертоло.
– Вы действительно знали о том, что Вега собирается покончить с собой?
– Да, он говорил нам об этом за год или больше.
– Может быть, он шутил?
– Нет, я его хорошо знал. Я понимал, что он не шутит.
... Вега давно готовился к смерти. Он перевел свой журнал в Италию. Он распродал вещи и книги. Он завещал свои деньги преемникам по редакции – на издание журнала. Я думаю теперь, что он мне все же не позвонил. Тогда, в конце октября, мой звонок застал его на пороге смерти. Какой смысл был ему встречаться с человеком, с которым он до того виделся лишь раз в жизни?!

Известие о его смерти потрясло меня. Увы, оно было не единственным печальным известием в том марте. Тот же русско-говорящий венгр как-то мельком, вскользь, сообщил о скоропостижной смерти еще одного человека: венгру он был полужнаком, а для меня был давний друг и коллега. Он внезапно скончался за две недели до конгресса в римском аэропорту: шел по коридору, вдруг остановился, побледнел - и рухнул навзничь...

Две эти смерти слились в моем сознании и окрасили своей тенью март, Венецию, мои размышления. Но цвета их были разные. Один из этих двоих людей умер в 48 лет, бодрый, жизнерадостный, совершенно не готовый к смер-

видимо, Пелликани, – так яростно он на него нападал, объявляя его "чуждым анархизму".

Два дня подряд мы обедали под вечер в тихом и уютном ресторанчике недалеко от площади Сан-Марко. Поразительное доверие друг к другу продемонстрировали мне эти люди. В денежных делах они намеренно и полностью исключали самую идею отчетности, – видимо, считая, что она свидетельствует о каком-то недоверии. Чем-то эти люди напоминали героев Чернышевского, – но насколько же они были привлекательнее и симпатичнее тех!

Все эти переживания, размышления, встречи шли на фоне Венеции – наверное, самого красивого, самого загадочного города на свете, который мне когда-либо доводилось видеть. Каждое утро, направляясь из гостиницы в дворец Аула Манья, я проходил улочками, где разворачивается действие романа Генри Джеймса "Бунати Асперио", и пытался угадать, в каком доме жили его герои. Но таинственных и похожих уголков было так много, что гадать было, пожалуй, безнадежно...

Я был единственным израильтянином на конгрессе, и это одиночество усугублялось тем сдержанным и даже настороженным отношением к Израилю, которое я ощущал вокруг себя. Я понимал истоки этой настороженности. В мировом левом движении довольно влиятельны сейчас экстремисты из бывших израильтян, давно или недавно покинувшие страну и теперь отрицающие даже ее право на существование. Одно из таких имен – Акивы Ора, ныне живущего в Лондоне, – мелькнуло во время моего разговора с Дэвидом Манселем, делегатом конгресса из Англии. Я слышал произносимые с недоверием и разочарованием слова "кибуц", "израильский социализм". Впрочем, все это я слышал, еще от Веги.

И все же сам факт моего присутствия на конгрессе опровергал распространенное среди "левых" мнение об отсут-

ем докладе Мок Чжу-ю назвал Мао главным мандарином Китая.

Вместе с журналом Мок подарил мне сборник, изданный в Гонконге, и это явилось третьим моим открытием: я узнал, что в Китае существует свой Самиздат. Он возник во время культур, ной революции и здравствует поныне. Одна из статей сборника рассказывала о китайской девушке, которая страстно углубилась в изучение Маркса и Ленина - с тем, чтобы разобраться в их учении. Кончилось тем, что она его отвергла. Она написала теоретическую работу, которую никто из ее друзей не согласился держать у себя дома. Впрочем, нашлась все же какая-то добрая душа, которая помогла ей сделать чемодан с двойным дном, чтобы прятать рукопись во время странствий по стране. Странно, – эта грустная история тем не менее вселила в меня какой-то непонятный оптимизм. Что ж, если даже в Китае, где тоталитаризм превзошел, казалось бы, все мыслимые пределы, возможно такое мужество, – кто знает: может быть, страшная орвелловская утопия все еще не неизбежна?..

Была и еще одна небезынтересная деталь: во всем этом китайском самиздате чувствовалось сильное влияние русской культуры. И относились к ней китайские диссиденты с величайшим уважением.

Известно, что даже по отношению к нигилизму можно занимать нигилистическую позицию. Так и на анархистском конгрессе не обошлось без своей "анархической оппозиции". Ее представлял некий Эдуарде Коломбо - венесуэльский анархист, живущий в Париже и издающий там свой журнал "Черный фонарь". Поднявшись на трибуну, он страстно заговорил о том, что линия конгресса недостаточно заострена, а многие анархисты настроены примиренчески к существующему обществу. Главным врагом "принципиального" и "чистого" анархизма он считал,

ти; другой, тоже веселый и жизнелюбивый, ушел из жизни добровольно, как мог сделать только истинный поклонник Штирнера, который сам, не цепляясь за жизнь, решает положить ей конец, как бы посмеявшись над смертью.

И вдруг я понял, что в самоубийстве Луиса Мерсьера Веги была своя красота, свое величие. Конечно, Вега исповедовал ценности, которые существенно отличались от моих. Конечно, в пределах моей шкалы самоубийство было если и не преступлением, то, во всяком случае, свидетельством жизненного поражения, признанием слабости. И все же...

У Веги не было близких людей, не было детей, за которых он отвечал. Он был по существу абсолютно свободен, – как может быть свободен аскет, отказавшийся от всех мирских привязанностей. И самоубийство его следовало рассматривать только в системе его собственных ценностей, а не в той системе, которую он не разделял и не признавал.

Я пытался вспомнить, слышал ли я когда-нибудь о других подобных случаях самоубийства. Пожалуй, только самоубийство супругов Лафарг, окончивших свою жизнь одновременно и по взаимному соглашению, отдаленно напоминало спокойную решимость Веги. Других имен я не припомнил – или просто не знал.

А жизнь шла своим чередом, и конгресс своими заседаниями подтверждал эту банальную и грустную истину. Все дни зал заседаний был полон, и странно было думать, что в тихой, "провинциальной" Венеции существует столько поклонников анархизма. Преобладала среди них молодежь, но были и люди среднего и даже пожилого возраста. Ничего такого, что отличало бы их от обычных студентов или интеллигентов среднего достатка, я не мог заметить: обычные, скромно одетые, но прилично выглядевшие молодые люди. Не видно было никаких хиппи, не чувствовалось – по крайней мере, внешне – никаких признаков развязной

"сексуальной свободы". В любом собрании израильской молодежи эти венецианские анархисты сошли бы за недотрог и "чистюль".

Забавно было, что и докладчики, все как один, тоже принадлежали к интеллигенции, несмотря на то, что анархизм декларирует свое принципиальное презрение к этой "прослойке". Заседания шли, однако, без всякого почтения к чинам и заслугам. Докладчик мог быть университетским профессором и автором многих книг (а в большинстве случаев так оно и было), – все равно, его представляли только по фамилии. В счет шли не заслуги и звания, а лишь то, что скажет тот или иной человек. Позже мне довелось видеть анархистские журналы еще более "крайнего" направления: там под статьями указывались вообще одни лишь имена авторов: Мартин, Жорж... Это была уже крайняя анти-меритократия доведенная до принципиального абсурда.

Суть докладов постепенно пробивалась в сознание, оглушенное известием о смерти Веги, отодвигала эту смерть, приковывала внимание. Я окончательно очнулся на докладе Лючиано Пелликани, университетского профессора из Неаполя. Пелликани нельзя было назвать анархистом в точном смысле этого слова: активный член Итальянской социалистической партии, он выполняет в ней важные идеологические функции; тем не менее он приехал на конгресс, потому что разделяет ряд положений анархизма и даже именуется себя "правым анархистом". Я знал, что незадолго до конгресса он опубликовал статью о взглядах Бакунина на интеллигенцию как на пролетаризованную группу, целью которой является захват власти под видом защиты интересов пролетариата (это оказалось неожиданно близко к тому, что я писал в пятом номере "Континента", – различие состояло лишь в том, что я приписывал при-

ритет в формулировании такой концепции не Бакунину, а Махайскому).

Но теперь Пелликани говорил о другом, и, слушая его, я вспомнил, как в августе 1977 года, в Касселе, я присутствовал на докладе Руди Дучке, этого бывшего вожака мятежных студентов, и впервые тогда услышал от него мысль о том, что в СССР господствует так называемый "азиатский способ производства", который нельзя, в сущности, считать ни чисто капиталистическим, ни чисто социалистическим. Собственно, сама идея "азиатского" способа производства принадлежит позднему Марксу и после него развивалась ныне здравствующим Карлом Витфогелем; но в приложении к современному советскому обществу Дучке показался мне тогда первым, кто высказал эту мысль. Оказалось, однако, что я ошибался. Пелликани развивал те же взгляды, независимо от Дучке и раньше него.

Другим моим "открытием" были ... китайские анархисты! Китайцев я заметил в первые же минуты моего появления в Аула Манья. Выяснилось, что они из Гонконга. Позже один из них, Мок Чжу-ю (свой доклад на конгрессе он прочитал на прекрасном "оксфордском" английском языке) подарил мне тоненький анархистский журнал, издающийся там же, в Гонконге. Я с любопытством разглядывал загадочное название. Он перевел: "Минус 7". Я не понял. Он вежливо объяснил: журнал каждый год меняет название; в 1978 году он называется уже "Минус 6".

– Мы ведем отсчет от 1984 года назад, – сказал он. – От Орвелла. Сколько лет осталось до катастрофы...

Политический нигилизм китайских анархистов был поразителен. Это были люди, которые разочаровались решительно во всем. Среди них были бывшие хунвэйбины, бежавшие из Китая после того, как стало ясно, что культурная революция, в которую они было поверили, была всего лишь политической махинацией Мао Цзэ-дуна. В сво-